

Ирина КРАЙНОВА ДЕНЬ ДОЖДЯ

Дождь начался громко, с раскатами, но силы его, видимо, истощились: пошел мерно, зашумел глухо, как море за закрытым окном. Под такой дождь хорошо думается.

...Вот она, все ближе, ближе. Матовая, нефритовая, солнечная на просвет. Волна, подхватившая со дна песчинки и мелкие водоросли. Мягко выносит ее на берег, шлепнув напоследок легкой материнской рукой... "Сережку нашли в капусте, Маринку — в море", — когда она услышала первый раз? Кто-то из взрослых пошутил, Сережка, кузен и вечный соперник в играх, захныкал совсем по-девчачьи: "Почему Марку в море, а меня в ка-апусте?!" Она была младше на год и училась всему, глядя, как учат его: плавать, нырять, прыгать в воду. И буквы так выучила.

А вот ее — в море! Она точно знала, где. Конечно, в Отраде, где мостки ржавыми сваями уходят вдаль, полузатонувшая баржа у берега и желто-охристые камни на берегу. Папа по своему обыкновению хотел заплывать чуть ли не в Аркадию — а тут, нате, она явилась. Такая, в чепчике, в длинном байковом платье с утятками. Папа и вытащил ее на берег.

"В море, в море", — она так часто слышала это в детстве, что ни капельки не сомневалась. И очень удивилась, узнав о каком-то роддоме около Куликова поля. Никто роддом ей тот не показал. Предлог "около" стерся, осталось только Куликово поле, замечательное место для появления на свет. Тезка того, поля свободы.

Домашние рассказывали, как папа опаздывал в роддом, тут такси, он кинулся, а перед ним, как в сказке, Алла Тарасова из МХАТа. И просит уступить машину — на репетицию спешит. МХАТ в Одессу приехал. Папа, конечно, уступил. А мама с дочкой из-за его рыцарских подвигов чуть пешком не пошла с Куликова поля — да на родную улицу Белинского.

Поле и море не слишком рифмуются между собой, и ей нравилось думать, что нашли ее все же в Отраде, а на Куликовом поле они уже вместе с папой уступили очередь "легенде МХАТа". Мифы имеют над нами необъяснимую власть. Она увлечется историей и театром.

Ее первые ощущения — высота и тишина. Высота двуспальной кровати с металлическими шпешечками значительна для ползущего малыша. Тишина неполная: в комнате множество людей, слышно их сонное дыхание. Вот-вот забьют черные часы у окна. Потом они ломаются, и Маринке будет казаться, что там поселился ее дедушка, которого она никогда не видела. Платье с утятками "на вырост" мешает ползти, но она упрямо движется к краю. Первый поход "мамая" на Куликово поле.

На двоих с братом — большая черная коляска. Нарядные, с веселыми кудряшками, они восседают по ее краям. Бабушка Инна торжественно везет их выгуливать. Дворовые мальчишки, попросив "скатнуть разок", разгоняются до немыслимой скорости, разбегаются кто куда, а коляска продолжает свой полет по улице Белинского, мимо загса, где расписались папа и мама, мимо тяжелой скамьи с чугунными ножками, как из рижельских времен, до угла, где большие уличные часы.

Это было особым шиком — догнать коляску "до часиков". Мальчишки состязались в ловкости, детки замирали от ужаса и восторга в несущемся экипаже, бабушка почти на той же скорости неслась вслед с нестрашными угрозами: "Сказались! От я вас!"

Она божилась, что никогда больше не доверит тем "шибеникам" своих деток. Шибеники клялись: "Ни, тетечка, мы медленно-медленно!" Доверчивая тетечка отдавала коляску, гонки начинались снова.

С коляской связана еще одна история, ставшая притчей во языцех. Как-то они отправились на прогулку вместе с Наташей, Сережиной сестричкой. Девушка она была чрезвычайно серьезная, и номер с катанием "до часиков" у нее не прошел. Наташа вцепилась в коляску мертвой хваткой, бабушка Инна отлучилась в гастроном.

Но когда старушка, нагруженная авоськами, оттуда вышла, Наташи нигде не было. Бабушка заметалась по улице, переходя на все более высокие ноты. Она добежала до будки газводки, когда ее голос уже больше напоминал вой пожарной сирены, с еле различимым: "Украли-и!!!" Тетя Броня "с газводки", полная сочувствия, возопила из будки с не меньшей силой. Две пожарные сирены на маленькой приморской улочке! Нашлись очевидцы: кто-то видел, как девочка с черной коляской свернула в Отраду. Беглецов настигли за углом, в знакомом дворике, заросшем виноградными листьями так, что виднелись только двери дома. Какой-то дядька глянул к ним в коляску — бдительная Наташа сразу увезла малышкой.

Тетя Броня долго еще развлекала округу "страшилками" о черной коляске. Почему она была черной? Старая потому что, покрашена первой попавшейся краской. Не до эстетики было в первые мирные годы.

Марина многое помнит, чего помнить вроде и не должна. Как долго стоял на их милой, зеленой улочке слепой дом. Был он без окон, без дверей, без крыши. "Разобмеленный", — авторитетно сообщил всезнайка Сережка. Ближе к ночи, черно-бархатной в Одессе, опасались ходить мимо его пустых глазниц. А тут еще бабушка вспомнила, как бомба упала рядом с их домом. Ушла в землю, там и осталась. Маринка стала бояться низко летящих самолетов. Она сильно наклонялась, точно и ее сейчас начнут бомбить. Передался, верно, страх ее матери, девочкой ехавшей из Кишинева в Одессу вместо семи часов семеро суток — под бомбежками.

Их улица Белинского была миниатюрной, но важной для города. В нее упирались колоритные Большая и Малая Арнаутские, она граничила с бульваром (Французским!). С одной стороны улочка почти соприкасалась с парком Шевченко, где с высокого морского берега начиналась Одесса, и когда-то входила в линию портофранко. На другом конце она плавно переходила в Отраду, тихую, тенистую часть города. С плитками синеватого тротуара — застывшую лаву везли из вулканической Италии, с могучими старыми акациями, соединявшими свои стволы в один, ширины и крепости дуба, с говорящими названиями улиц — Отрадная, Уютная, Ясная, Морская. Потому, как хитро ни плутали

улочки, как ни запутывали идущих по ним, за последним поворотом всегда открывалось море. И всегда неожиданно. Не голубое, не зеленое — "самое синее в мире", что верно, то верно.

Мама Зина непреклонно вела всех на пляж в седьмом часу утра. На коричневатой фотографии, едва успев родиться, Маринка уже у желтого камня — у мамы на ручках. Когда же закончились все "ручки" и коляски, родилось это невероятное ощущение свободы. Тогда не было еще ни канатной дороги, ни асфальтовой, плавно поворачивающей к берегу. И они чувствовали себя с братом первооткрывателями мира — слетали с круглого обрыва наперегонки, а навстречу неслась такая знакомая красноватая, "марсианская" земля с выжженной солнцем травой.

Море встречало хрустальной чистотой, знобкой прохладой раннего часа. Старушка баржа к их услугам. Высшим шиком считалось, позаграв там, красиво и небрежно спрыгнуть в воду солдатиком. Однажды, не рассчитав силы, Маринка прыгнула плашмя и сильно ударилась животом о воду. Но виду не подала. Вдруг брат увидит и поднимет на смех?

Потом в Отраде построили хорошие мостки, намыли волнорез. Как-то они с Сережей приплыли к нему в сильные волны. Маринка никак не могла взобраться на него, но упорно лезла — она же не слабая какая-то. На пляже сделали и водянью горку, что сразу вела на глубину, они летели туда со всего размаху!

Отличным развлечением был еще обманчивый с голы до ног засохшей грязью дедок, он брел себе по берегу, время от времени выкликающая, всегда неожиданно и пронзительно: "Лиманская грязь! Кому лиманская грязь?!"

У них было два любимых занятия на пляже: лугать семечки и что-нибудь скушать — все равно, что. Четыре медика в семье — катастрофа. Кушать на море? С этим строго. Только фрукты, в крайности — мороженое!

Они жадно смотрели, как на соседних подстилках доставались большие стеклянные банки, оттуда извлекалась молодая румяная бульбочка, мясистая красная помидорка, ароматная крепкий огурчик, жирная, душистая до невозможности украинская сарделька. Все вмиг уминилось хорошо упитанными детками. А им не покупали даже жареные пирожки. "Вы знаете, какими руками они делались?" — спрашивала мама с квадратными от благородного негодования глазами. Они не знали. "А вы знаете, из чего они делались?" — продолжала мама. Они и этого не знали. Но все поедавшие эти замечательные пирожки с начинкой "из чего угодно" были почему-то живы и здоровы.

Перед обедом начиналось новое линчевание. Брат и сестра, как старшие, разбирали работу поприятнее. Сестра шла за хлебом, брат бежал заправлять сифон к тете Броне. Где теперь театр оперетты, стояла ее будочка. Там еще рос великан тополь, уходящий далеко в небо. Маринке же снова доставался керосин. Она плелась с мило благоухающим баллоном по улице Чижикова на Канатную, мимо бани и велотрека. В крошечную тьму лавки керосинчика. Тот весь почернел от продажи своего товара — там был и уголь.

Зато вечером они ехали в город. Так это называлось, хотя их улица в десяти минутах ходьбы от центра. На Дерibasовской мороженица манила прохладой зеркальных стен с нарисованными пингвинами, ловко эквилибрирующими шариками крем-брюле и пломбира. На холодных мраморных столиках — сифоны с сиропом. Но и газ-

вода не дозволялась суровой мамой Зиной. Навевшись вкусных ледяных шариков (Сережка как-то на спор съел пять штук!), шли на Приморский бульвар, где вагончики фуникулера и — бывали салюты. В них участвовал еще Маринкин папа: сначала стреляли из сигнальных пистолетов.

Только утренний дождь мог расстроить четкие мамини планы. Как бунтующий школяр, врывается он веселым перестуком в затененные виноградом окна комнаты, будил их бодрым шумом, отличным от привычного гроханья трамвая. И был тот шум самой лучшей музыкой. Можно сколько хочешь жмуриться в постели (спать чего-то уже не хотелось): никто не потянет тебя на утреннем холоде на пляж, не пошлет в лавку керосинчика!

В дождь играли в карты. Не в "дурака", повзрослому — в "девятку", на медные копейки и "трюльники". Азартная Маринка нервничала, сильно краснела. Ехидный братец повторял во всеуслышание: "Марка переживает!"

И еще — за картами можно было грызть семечки! Это ли не настоящее счастье? Правда, если это "счастье" продолжалось дольше, чем три дня, все уже не находило себе места в их 15-метровой комнате. Но — Одесса, июль, юг. Солнце вскоре снова водворялось на небо, дети — твердой рукой мамы Зины — на пляж...

Какие же они были маленькие дурачки! От моря они уставали... Как далеко теперь ее море и ее город. Думала, приедет сюда, изойдет следами. Нет, ничего. Спустилась к Ланжерону, дивно похорошевшему. И скорей — в Отраду, мимо оставшихся еще охристых камней. На родимом пляже — теперь "пиратском", в духе Стивенсона — испугнулась и всплакнула, не без того. И пошла почти не изменившимися, наизусть знакомыми Уютными и Отрадными улочками к своей, самой уютной и отрадной. Всю на месте: старинная аптека с мраморными ступенями на углу, тубдиспансер наискосок, ее домик с потемневшей черепицей.

Пока она ностальгически шмыгала носом у "домика", оказавшегося, кстати сказать, модерном, с вертикальными узорами фасада и асимметрией лоджий, проглядела эту черную тучу. Дождь приснул не всерьез, притих было, сходя на нет, но снова разошелся, и полил, и полился... Марина вся вымокла.

В спасительную "двойку" — троллейбус, как в ковчег, набились насквозь промокшие пассажиры. Рядом с ней уселся мужичок с ноготок — с лопатой наперевес. Остановка провожала его дружным смехом. Дядечка был бос на одну ногу. На другой каким-то чудом держался матерчатый домашний тапок. "И что они смеются?" — жалобно обратился он к Марине. "И де другой?" — моментально проникаясь напористостью обаятельными родными интонациями, спросила она. Интонация в Одессе — наше все. Сосед доверчиво разжал руку: второй тапок он бережно прятал на груди. И задумчиво спросил: "И де ваши дети?" — "Дома", — механически ответила Марина. Тот радостно закивал: "Им крупно повезло — они бы тоже промокли!"

Господи, все изменилось за десятилетия, мир стал другим, а Одесса... Одесса все та же. И люди все такие же — добрые, смешливые, открытые, как дети. И все так же набегают на берег за улицей Белинского легкая волна. Матовая, нефритовая, солнечная на просвет.

Россия, Саратов.

Владимир КАЦ

Тропинка сбегает к морю.
Солнце стоит в зените.
Скользят вдоль берега тени
перистых облаков.
А мы всё спорим и спорим
о суете событий,
сверкая ноты мгновений
с музыкою веков.

Липы столетние, двор
с юго-востока на северо-запад
тянется, и в разговор
пряный вплетается запах —
окна все настезь, июль,
ночь обнажает тела и желанья
и умножает на нуль
наше дневное сознание...

Да, так о чем разговор? —
Все о любви — мы ж другого не смыслим...
Липы столетние, двор,
трепетно-тонкие кисти
(я о запястье молчу,
не говоря о предплечье и шее)...
Что же, загасим свечу.
Лето. Июль. Лорелея.

Не забыть мне этот город,
не забыть мне эти лица,

приглушенный отблеск меди
от мигалки за окном,
этот странный южный говор,
запах булочек с корицей,
комнату моих соседей,
вывернутую вверх дном.

В этом городе,
где в разноцветье весенних бульваров
запах моря врывается,
как захмелевший матрос
в припортовый кабак,
рядом с площадью старой базара
я родился, и рос,
и полтинник менял на пятак.
И с тех пор этим бизнесом странным
занимаюсь везде беспрестанно.

Я растяну сентябрь
на триста тридцать строк,
чтоб тридцать дней спустя
все длилось бабье лето.
Я буду жить шутя,
свободно, вольно, впрок,
как малое дитя,
как следует поэту.

Пусть юности моей
трамвайные пути
разобраны и пусть
бульжик весь украден —
в хмельной колодезь дней
лети, бабья, лети,
зачеркивая грусть
исписанных тетрадей.

Одесса.

